



Валентин КУРБАТОВ

(1939 — 2021)

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СНАЧАЛА

Опять оправдываюсь. Как же! Печатать свою переписку при жизни! Без предисловия не обойдёшься. Надо объяснить. Хотя нечаянно открыл со школьной поры не попадавшего на глаза лермонтовского «Героя нашего времени» и только хмыкнул. Вот и Михаил Юрьевич оправдывался: «Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий». А душа всё равно просит оправдания. Да ведь первоначально книжки-то и рождаются не для «читателей», а чтобы самому в себе и в прошедшем оглядеться. Тем более, когда оборачиваешься на свою переписку с ушедшими художниками, как вот я сейчас

на переписку с Валентином Григорьевичем Распутиным. А только уж гляжу смелее, чем несколько лет назад при публикации переписки с Виктором Петровичем Астафьевым («Крест бесконечный») и с Александром Михайловичем Борщаговским («Уходящие острова»).

Вот и Валентин Григорьевич Распутин при чтении «Креста бесконечного» сомневался: может, надо было бы подождать, «чтобы дать остыть некоторым горячим высказываниям и некоторым убеждениям дать отстояться до времени», но сам же через несколько строк и видел, что время уже перестало быть временем в старинном понимании, потеряло длительность, в которой можно «остыть» и «отстояться».

«Река времён» Гаврилы Романовича Державина полетела водопадом и уже не «уносит», а обрушивает нашу память.

Забвение торопится отнестись ещё вчера всеобщую для русско-го сознания «деревенскую» литературу к почтенной истории, уже ничего не определяющей в нынешнем миропонимании. Они и сами, «деревенщики»-то, чувствовали закат («Последний поклон», «Последний срок», «Прощание с Матёрой»), но всей любовью и памятью ещё надеялись удержать лучшее в человеке — долгую землю и высокое небо.

Но человечество уже торопилось освободиться от «обузы» нравственных обязательств и пожить «по своей воле». А уж как нынешние молодые люди вышли на улицы, уткнувшись в айфоны и планшеты, как прежде монахи в молитвенники, уж можно слова «память» и «народ» вычёркивать из словаря или ставить осмотровое «устар.». И сейчас оглянуться на переписку с последним земным наследованным писателем — это уж просто хоть по-человечески проститься с последним нецифровым веком. Вон в Швейцарии сразу учат деток «не пачкать пальцы чернилами», а прямо с детского сада тыкать в клавиши, отнимая у них, о чём они ещё не знают и теперь уже никогда не узнают, почерк — как личность, как самую верную фотографию души. И умрёт чудо рукописи, которое мы ещё застали.

Валентин Григорьевич и тут был последним.

Возьму несколько писем самых трудных для нас двоих, да и для всех нас девяностых годов. Не все подряд, как в книжке, а те, где поживее и побольнее. Глядишь, когда книжка выйдет, читатель и в неё заглянет. Тем более там-то диапазон в сорок лет.

**От В.К. — В.Р.
30 апреля 1993 г.
Псков**

Слава Богу, ты хоть на относительной свободе!

Я десять раз за время твоей болезни собирался в Москву, но теперь уже не только на Сибирь, а и на Москву никаких карманов не хватит. Придётся домовничать и понемногу возвращаться мыслью в прежние границы, когда и поездка в соседнее село было событием и уходила в домашнее предание. Оно, может, и к лучшему. Мысль меньше суетится, и начинаешь, как матёринская Дарья, «на жизнь до-о-олго смотреть». Отечество наше окончательно посыпалось. Референдум (оставаться ли Союзом или проститься с ним — **В.К.**) был его последней возможностью как-то оглядеться. Оно предпочло безумие. Что же теперь остаётся? Стоять в одиночку. Воспитывать детей людьми. Искать кусок хлеба. Побольше делать для церкви. Да молиться, чтобы Бог дал человеческую кончину без унижающего страдания. Жизнь не получилась. Оказалось, что она больше

должного связана с родной идеей и идеей общественной. А в одиночку жить не выучился — всё кажется напрасно и бесцельно, как-то уж очень животно. И в церковь мало гожусь, хоть только в ней, в долгих службах с о. Зиномом и нахожу единственное успокоение.

Слишком далеко успел выйти из церковной огады, чтобы вернуться совсем и не оглядываться. Сейчас бы какую-нибудь долгую, требующую терпения и не вовсе бессмысленную работу, но слово как-то существенно поистратилось, размылось в своих существенных смыслах, оказалось выпущено, будто вместо зерна одна половина осталась, — отчего никакие статьи и никакие книги (и искреннейшие, и честнейшие) уже не действуют на человека. Надо бы домом заняться, с избой возиться, в деревне подольше жить, но и домашние обстоятельства не пускают, и мысль заранее бежит, как от самообмана. Работать-то хорошо, когда душа просит, а когда сам себя из-под палки заставляешь, то и дом не в радость.

По инерции что-то ещё делаем: к Пушкинскому празднику готовимся, к Дню славянской письменности, но тоже как-то всё через силу и без интереса. Никто к нам не едет. Манили Крупина — ему некогда, Белова — тоже. А на большее уже и фантазии нет — надо ведь, чтобы и читатель писателя знал. Как-то вдруг осталась матушка-литература без авторитетов. Я ещё сочинил на свою голову Религиозно-философское общество

им. Кирилла и Мефодия (у нас было в прошлом веке братство их имени). Так вот тут лень-то мысли и сказалась и вся бесполётная скудость нашего лобомудрия и обнаружилась. Скорее стал скрываться за приглашение авторитетов, чтобы сами себя стыдиться не начали, пустого празднословия своего. Но и в приглашениях какая-то усталость холостой мысли. Вроде и своё говорит, но такое чувство, что в сотый раз произносит и сам ни одному своему слову не верит. Правда, это всё питерские: Прохоров, Корольков (спец. по Леонтьеву). Но что-то мнится, что и московские будут не зажигательнее. Мысль вообще, кажется, по Руси холостой пошла. В межумочный период попала, никак за живое не зацепится.

Прости, что я вместо ободряющих обыкновённостей о здоровом воздухе, о румяной пользе Подмосковья, о калорийности санаторного питания всё в свою занудную сторону ворочу, но уж тут подлинно — у кого что болит...

Выбирайся поскорее, Валентин. На кухне-то всё-таки легче разговаривать, чем в письмах.

**От В.Р. — В.К.
17-21 мая 1993 г.
Москва**

Спасибо тебе и за пасхальное поздравление, и за письмо, хоть и невесёлое, да твоё, с твоей интонацией и твоим умением говорить точно. Спасибо и за статью для «собрания», статью умную,

но излишне для меня лестную, поскольку «страдания» мои происходят по большей части из обыкновенной русской лени, а «философ» из меня в статьях оказался никудышным. Но я ведь никогда и не претендовал ни на то, ни на другое и в самые благополучные, «хвалебные» времена страдал втайне от своего несоответствия той фигуре, какую из меня, вероятно из добрых побуждений, делали. В больнице пришлось читать вёрстку книги, которая выходит у П. Алёшкина в его «Голосе». Я давно в свои вещи не заглядывал — и неожиданно больше всего понравились «Деньги для Марии». А потом, вероятно по примеру великих, стал усложнять мысль, тянуть фразу, и получалось на своём материале «по следам».

Если это и уничтожение паче гордости, то искреннее.

Но о том Распутине, о котором ты писал, ты написал очень хорошо, с некоторой, правда, усталостью в конце статьи, там, где и Распутин через силу водил пером.

Захотелось мне после этого перечитать твою книгу обо мне — да ведь её нет, а теперь, наверное, и не достать.

Пишу сейчас ещё из санатория, но опущу письмо по возвращении в Москву. Это и не в чистом виде санаторий, а больничный, и согласился я на него, чтобы не оставаться в больнице. А здесь повезло благодаря праздникам: две недели был один в палате и от последней тоски иногда

присаживался к столу и написал в «Сибирь...» ещё один очерк по следам своей летней поездки по Лене, которая и прогнала меня по больницам. Если удастся когда-нибудь поплыть дальше (как собирался), придётся эту свою работу или выбрасывать, или переписывать, но пока пусть будет. Нынче на «мокрую» поездку едва ли решусь, да и кармана моего не хватит. Ты прав: надо прижимать хвост. Алёшкин заплатил мне хорошие деньги, но, во-первых, жизнь в Москве, и, во-вторых, скоро втроем возвращаться домой.

Очень огорчил меня Савелий своим интервью в «Правде», где ради хлёсткого словца, меня защищая, со мной же и не посчитался. Деньги на храм я тебе давал не собственные, ты это знаешь; думаю, знал и Савелий, и не демократы довели меня до операционного стола; даже под запал такие вещи говорить не годится. И никто меня из квартиры не гонит решительно, лучше бы об этом вовсе не вспоминать.

От друзей защищаться труднее, чем от врагов. Тут Володя Крупин добавил мне одну операцию, хотя мне хватает и собственных. А тут М. Лобанов, зная, что мне не пришлось платить за операции ни копейки, всё-таки оставил в «Дне» тот текст, который нуждался в поправке, но без поправки звучал... Хотел было на все эти вещи писать разъяснение-опровержение, и надо было написать, да по слабости пожалел и себя, и своих адвокатов.

Нынче впервые за последние пять лет еду на Праздник славянской письменности. В начале июня собираюсь в Иркутск. Но уже так боюсь новых осложнений, что и думаю об этом втихомолку. Всё более вижу, что писать ничего «агитационного» сейчас не следует. Кого можно было образумить — образумился, остальных или нельзя, или пусть доспевают сами, под солнцем родной действительности. Время не только межеумочное, но и глухое для восприятия, дурное. Вот-вот начнём терять друг друга физически: кто на пределе лет, кто на пределе сил.

«Лит. Иркутск», вероятно, будет прекращаться. Нет денег. К тому же Валентина Сидоренко горит только одним рвением — борьбой с еврейством и масонством, в старой России немасонов для неё уже не остаётся, всех ставит к стенке. Епархия, помогавшая раньше деньгами, теперь не может. А богатый дядя не находится, и искать его надо не в Москве, а в Иркутске.

Как видишь, дела все тоже невесёлые, но доживать надо. И хорошо бы — не в камере. Камеры боюсь потому, что сойду там с ума от бессонницы. Потерял сон, а таблетки давать не будут.

В Иркутске перехожу на травы.

От В.К. — В.Р.

29 июня 1993 г.

Псков

...Очень жаль, что мы с о. Зиномом приехали в Москву, когда тебя нет. Бог вещь, удастся ли

нам ещё вот так выбраться вдвоём. А так-то хорошо, что ты не в Москве. Сюда бы и вообще-то без крайней нужды приезжать не надо. Я выбрался на открытие выставки Юрия Ивановича Селивёрстова, которую вытаскивал из Савелия клещами, да и с о. Зиномом хотелось доехать до Владимира и до Покрова-на-Нерли, куда его зовут на предмет обсуждения, как обустроить алтарь. Ещё не знаем, доедем ли. Но собрались.

Очень я был рад, что на Пушкинском празднике сумел уговорить Василия Ивановича остаться и съездить в монастырь. Он и сам потом понял, насколько ему это было нужно, и уехал покойнее и светлее, чем приехал. Уже в поезде с какой-то острой тоской заговорил о Викторе Петровиче, как-то минуя всю болезненную нынешнюю внешность, и тут-то я особенно ясно и понял, почему он всё время вспоминал мать, и видно было, что действительно не находил себе места. Она для него была связана и с Виктором Петровичем, и вот он не может разорвать сердце.

Но сам, конечно, руки не протянет, чтобы не быть неверно понятым. Да и не он это должен делать. И хоть я верю, что все вы правы, а Виктор Петрович менее всего, но вот, поди ты, никак мне не смириться с тем, что вы порознь и пока ещё продолжаете удаляться друг от друга, и никак для себя не определяю, верно ли это перед Богом, а не перед короткой человеческой правдой. Всё казалось, что следовало бы резче

говорить друг с другом, а не друг против друга. Это, может быть, было бы большее, но зато здоровее.

Но теперь, похоже, уже ничего не воротишь. Единомыслия уже не будет. Его не будет по многим частностям между тобою и Беловым, тобою и Клыкковым, тобою и Шафаревичем, тобою и Крупным, и по частностям болезненным. Я уже не говорю о себе — со мною-то вообще согласиться нельзя: больно широк, надо бы поуже.

Но, видно, в конце концов придётся единомыслие понимать пошире и Россию пожёстче, чтобы устоять в главном. А мы оказались жёстче, чем следовало, и вот на этом-то и можем быть пойманы расторопными дирижёрами, которые мелкие трещины сумеют довести до неперешагиваемых пропастей. Нам бы удержаться всё опережающей любовью, которая простит и срыв, потому что неловкое слово можно поправить и скверный поступок поправить другим поступком, а мы, к сожалению, слова выучились ставить впереди любви и считать их вырубленными в бронзе или начертанными на небесах. За это и будем платить тяжкой мерой всё более плотного одиночества и в конце концов оставлять сиротой свою Родину. Без любви мы подлинно «кимвалы бряцающие».

Сто раз повторю когда-то поразившее — победить нельзя только безоружного человека. Это доказал Христос, но никто не хочет его доказательств, хотя всяк берёт его на вооружение.

С тоской и отчаянием вижу, что сегодня Христос чуть не дальше от России, чем до крещения. Особенно это видно в церкви, разделённой столь же решительно, как и всё наше бедное общество. Об этом на брёвнах у бани говорить или в тихих прогулках над Ангарой, вышелушивать из слов ядро смысла, оглядывать себя из края в край и потихоньку выбредать к истине. Но куда уж мечтать об этом. Всяк поневоле наособицу, и это, может быть, страшнее всех иных средств, направленных против человека. Родные душой люди должны видеть друг друга во всякий час, когда темнеет и теряет опору душа, тогда и земля у них стоит здоровой и мир не теряет рассудок. Спасти Родину можно только любовью к ней и друг к другу. Мы за любовь принимаем что-то другое, и немудрено, что ничего у нас не выходит.

Прости, Валентин, что всё выходят какие-то торжественности, тогда как за ними стоит простая тревога, что мы делаем многое не так, и хоть твердим о новом качестве жизни, но сами упорно этого нового качества понять и принять не хотим, предпочитаая привычное оружие, которое по внутренней ложности своей лучше работает в руках демократов, ибо они знают его главный секрет — в его пользовании не надобна совесть. А с совестью оно осекается.

Впрочем, всё это только смутная догадка о чём-то, никак не проступающая в прямое слово. Но всё отчётливее я вижу для

себя, что наша всечеловечность, и наша всемирность, и наше избрничество истолкованы нами не так, как следует, и, кажется, неверно поняты (да простит мне Фёдор Михайлович). И именно оттого, что взяты ложные задачи, выходят соответственные результаты и мы всё выходим примером наоборот и скоро станем несчастным миром под стать евреям (в рассеянии-то уж вот-вот догоним, и не указание ли нам, что ни один там «всечеловеком» и указательным примером не является). Тут есть какой-то кончик мысли, за который много можно чего вытянуть, и только боязно это делать, потому что вытянешь, как кажется, что-то неутешительное и мало работающее на величавые идеи, которые мы тут высиживаем о своём «четвероримстве».

Нет покоя, нет устойчивости, нет чистого образа будущего. А хотел-то написать только — больше будь на Ангаре, Валентин, в деревне да в покое сиди. И нашего брата на порог не пускай. Настоящая-то наша работа вся впереди. А сейчас так... разговоры, и на них найдутся другие мастера.

От В.К. — В.Р.
1 ноября 1993 г.
Псков

...Никак не знал, куда тебе написать, но чувствую, что обстоятельства вот-вот позовут в Москву. Когда бы знать, что ты там, я бы даже и приехал. Слишком переменялся мир, тысячелетие успело смениться досрочно,

Россия успела сменить генетику и вот-вот родит из своих потёмков какую-то неведомую нам державу с чужим языком и мыслью. Сейчас бы самое время на завалинке собраться всем деревенским сходом и рассудить — чего человеку делать. Не проходим, не улично-му человеку, а нам самим, каждому по отдельности и всем вместе.

Очень похоже, что никакой России может не остаться вовсе, а борьба за неё переносится из парламентов в человеческое сердце, в каждую отдельную душу. Какое-то партизанское существование, отсиживание по лесам, во всяком случае сейчас, на период ближайшего ожидающего нас безумного правительства. Надо просто сохранить человека, сберечь простое его сердце и живую душу. Никто, кроме культуры, этого не сделает. Никакой пример, кроме её молчаливого спокойного сопротивления и стояния на своём, не поможет. Во всяком случае мне не видится ничего другого. Методы Невзорова и М. Астафьева, за список которых нам придётся голосовать, себя исчерпали, и, если они этого не поймут, это принесёт новые беды и новые жертвы. Или, по крайней мере, наше сопротивление должно быть иным. Нам действительно придётся взяться за перо и спокойно и твёрдо, не смотря на рёв тысяч «глушилок», говорить и говорить о чистом русском человеке, терпеливо лечить его от помрачения.

По мне, это и всегда было единственным делом литературы, но теперь... кажется, что теперь

это услышит или должен услышать даже глухой. Культура не умеет и, как кажется, не должна бороться политическими средствами — она неизбежно терпит в этой борьбе поражение. Неужели опыта прежних Дум не хватило, чтобы убедиться в напрасности сидения в них всем Милоковым и Набоковым? А уж наши «думцы» будут и того беднее. Или хоть там, в Думе, не соревноваться в красноречии, а учиться незаметному терпеливому делу.

Не знаю. Иногда такое отчаяние охватывает и такой стыд, что хоть беги. Не за страну, не за правителей наших. Это уже как бы позор естественный. А за литературу. За то, что она втягивается в те же средства противостояния и оставляет читателей сиротой. Никто, как наше поколение, не измельчил так значение русской литературы в глазах читателя, никто не уронил его так низко. Сидели ли Толстые и Достоевские по правительствам, даже Бунины и Горькие? А нам непременно трибуну подавай, министерское кресло. А что выходит? У того же умного критика Сидорова, у Клыкова?

Ну ладно. Это у меня старая песня. Это я от одиночества брюзжу, от усталости. И оттого же к тебе напрашиваюсь на денёк, чтобы душой подкрепиться.

В Москву, если не будет тревоги, приеду в начале мая. Тогда, может быть, с Марией и в Печоры. О писательском съезде, о будущем, уже как-то и забылось, пользы от него не будет. Надо,

наверное, но как вспомнишь, что будет, какие честолюбия и самолюбия переговорят всё остальное, — и в сторону опять. Ничем нам союз теперь не поможет.

**От В.Р. — В.К.
7 августа 1995 г.
Иркутск**

Твои письма пришли с перерывом дней в пять-шесть, но с тех пор минуло недели две, а может быть, и больше, как я получил последнее. Но тут уже вмешалась не одна моя лень, которой я предаюсь во всю Ивановскую, а кое-что поинтереснее. Это кое-что — случившийся со мной удар, выбивший меня из памяти примерно на час. Нечто подобное со мной уже бывало, но слабей и короче, и, возвращаясь в память, я себя сразу находил, а тут ещё потребовалось время, чтобы вспомнить, кто я и где я.

...Никак не могу согласиться с тобой в полном оправдании Виктора Петровича, что бы он ни говорил и ни делал, широтой его могучего таланта и полнотой жизни. Мне кажется, что ты невольно поддался «задаче» — и выполнил её, находя необходимые доказательства. Доказать можно всё что угодно, когда задаёшься такой целью. Ни зла, ни обиды у меня на Астафьева нет, и я искренне надеюсь, что если проживем ещё, то и сойдёмся и сдружимся. Но делать это придётся заново, потому что того В.П., которого я знал, у которого немало взял и который как человек и как талант был целен,

здоров, — того Астафьева уже нет. «Не сотвори себе кумира» — вот о какой заповеди он запомнил. После Толстого, на которого ты ссылаешься как на авторитет, не оглядывавшийся на так называемое общественное мнение, это не кажется тебе столь большим грехом... А вред? Если он прав в своей «органической правде», то ведь правы и черниченки, и нуйкины, и окуджавы, ибо он сознательно рядом с ними встал, рассылая проклятия и требуя расправы. До того и Толстой не доходил. Толстой в сваре не участвовал, он поставил себя земным богом и устанавливал законы самовластно. В.П. полагает, что талантом всё оправдывается и талант из любого кривого положения его выведет и выпрямит, что он не может быть неправ, ибо достиг положения, когда и неправда превращается в правду, если смотреть на неё из вечности. Если [из] последней вечности-то смотреть, то и государство действительно только зло и Россия избилась и никому больше не нужна. Но до вечности-то ещё дотянуть надо. Как бы ты отнёсся к священнику, который проповедует в храме, что Бога нет? В.П. сейчас со своей кафедры делает то же самое: обязанный от зла спасать, он не оставляет своему читателю никакой надежды. Ты смотришь на его роман с высоты вечности, а те, кто подхватили его и представили к долларовой оплате, ценят совсем по-иному — как оружие, стреляющее по своим. И не ты ли, бросаясь защищать истязаемое пропагандистской сворой тело,

говорил, что отказываться от своей истории, какой бы она ни была, смерти подобно... В.П., живший и участвующий в ней, отвергает её с матом.

Всю жизнь, ты пишешь, осматривался, не договаривал — теперь требуется выговориться. Да уж так ли оглядывался и осторожничал? Кажется мне, что мы и тут поддаёмся внушению. Да в тех условиях творилось больше и значительней — потому что чуяли, искали и внимали, фигура умолчания перед читателем таяла, как снежная баба. Не сказал ли тот же В.П. о войне в «Пастухе и пастушке» безжалостней и чётче, чем в романе? Но — не истязая героя и читателя. Не говорили ли многие из нас в те «сумерки просвещения» полезней и одухотворённей, чем теперь, когда свет бьёт со всех сторон, всё известно и всё понятно?! Да от этого ярко бьющего света ничего не видно и ещё меньше понятно, хочется в укрытие, в тень, в Запрет. Не я говорю — великие говорили, а действительность подтверждает, что на свободном-то полностью выпасе искусство и отравляется. А сострадание превращается в один из пунктов распорядка дня.

В.П. решил, что ему всё можно, и ты потворствуешь: ему с его талантом, поднимающимся в небжитые высоты, действительно всё можно. Но если можно великим, если им это прощается и превращается в знаки величия, если это к тому же щедро оплачивается, то почему нельзя невеликим? Одним можно по величию таланта,

другим по малости. А ответственность — штука, которой распоряжается одна лишь вечность, ну и гуляй трын-трава по некогда великой русской литературе, величие которой нынче приобретает другой нравственный знак.

Это-то как раз и есть идти по течению, а не против, как ты говоришь. Потому что то направление, к которому примкнул вольно или невольно Астафьев, победит. И не столь большие для этого теперь потребуются сроки. Монархист Пушкин, кликуша Гоголь, реакционер Достоевский — уж если они были смяты и прокляты, что говорить о нынешних тормозилках! Недолго их испуганный попоп!

Заканчиваю, Валентин. Надеюсь, не обидел ни тебя, ни Астафьева. В.П. я продолжаю любить, но с болью. А с тобой, чуёт моё сердце, нам ещё предстоит поспорить о размерах правды.

**От В.К. — В.Р.
14 февраля 1996 г.
Псков**

...Про главное-то я и не спросил — работалось ли в Переделкино? Подвинулись ли те два рассказа, что начались в Сибири? Лицо твоё было невесело, и я побоялся и спрашивать. Сам-то вот рассыпался, ну, думаю, и у всех так. Хотя Володя Личутин сказал, что работал как следует. Но он всегда работает как следует, и у него материал спасительный: нырнул в XVII век, и поминай как звали!

Я по приезде отправился в Михайловское — на Пушкинский театральный фестиваль. И что это было за чудо после Москвы с её песком и солью вместо снега! Всё сверкало, скрипело, искрилось, слепило, звенело. Актриса из БДТ Светлана Крючкова бормотала про себя: «Тоже мне гений — «Мороз и солнце! День чудесный!» Тут любой дурак в окно выглянет, у него и вылетит: «Мороз и солнце! День чудесный!» Ты попробуй в петербургский дворовый колодец выгляни, я на тебя посмотрю, что ты запоёшь!»

А дни были действительно снежны, сини, почти мучительны — бывает такая красота, что уж и тяжело, лучше бы немного победнее. А на панихиду тонкие интеллигенты не пошли. Приехал наш владыка, монахи избегались, высматривая на дороге его «Волгу», чтобы ударить в колокола. Наконец, опоздав на полтора часа, явился, привёз хор, басы которого уже «разогрелись» в дороге и так хватили «исполла эти деспота», что владыка метнулся было обратно, да уж подступающие сзади удержали. Сказал баушкам о величии Пушкина и с Богом перешёл к панихиде, а там и на «со святыми упокой!», и к могиле пошли и быстро засинели носами, и, слава Богу, управились скоро.

Я всласть походил потом и по Михайловскому, и по окрестным лесам, тем более что возвращаться в гостиницу не хотелось. Там, как и всегда в Пушкинских Горах в это время, было холоднее, чем

на улице. Начальство «грелось» в банкетном зале с великими актёрами. Мы «грелись» в общем с величинами поменьше, и всяк злословил на свой лад, потому что каждый про себя считал, что в банкетном зале место было как раз более по нему, чем по тем бездушным людям, которые там сейчас ели и пили на серебре. В общем, днём был Пушкин, а вечером всё известное-преизвестное и недвижимое от века.

Дома ждала новость от Миши Петрова. Новгородская и Псковская писательские организации отказались от учредительства журнала «Русская провинция», и выбирайся как знаешь. А механизм пущен, а первый номер уже готов, и второй в наборе. Отказались Б. Романов и С. Золотцев. Теперь надо искать выход — скорее всего, надо пытаться склонить к учредительству сами администрации. У нас такая надежда есть. Хотя всё это очень тяжело и хорошо говорит о господах писателях. Вообще обстановка у нас такая — порога не хочется переступать. Да у нас ли одних?

**От В.К. — В.Р.
19 марта 1996 г.
Псков**

Ну, каково дома, Валентин? Помогают ли стены закончить новые рассказы? Работается ли? Я чего-то вылетел из ритма и никак не соберусь. И потом, меня всё несёт втягиваться то в один конфликт, то в другой. Теперь особенно в дела Пушкинского Заповедника, где

всё вверх дном, где всё разорвано в клочья, потому что слишком много держалось на Гейченко, а тут и он помер, и матушка-система, которая ещё могла по инерции поддержать порядок, пока оглядится новый директор. А теперь времени ни у кого нет, и никто не хочет терпеть друг друга ни одной минуты, требуя, чтобы другой немедленно думал так же, как он, иначе на него разом слагается бумага в министерство, администрацию, президенту, Патриарху.

И временами видно, как каждая сторона тоскует по своей «чрезвычайке»: расстрелять бы подлеца-противника — и никаких забот, а тут войой, доказывай, терпи. Я получаю по шее отовсюду и всякий раз даю себе слово отступить и заниматься «своим делом», но уж глядишь, опять пишу письма. Звоню, еду, чтобы опять получить по морде там и тут. Всё то же. Лета жду — уеду в деревню, спрячусь и примусь думать о высоком и вечном. Слава Богу, скоро картошку можно готовить для посадки, земельку копать, а там, глядишь, и сенокос поспеет, и уж вот там-то меня никто в городе не найдёт.

Разве вот в Красноярске свидимся. Виктор Петрович придумывает какой-то библиотечно-писательский семинар в Овсянке, клянчит деньги и собирается позвать тебя, и Белова, и меня, грешного. И за его бодростью и размышлениями о книжном деле России я слышу тоску навоевавшегося сердца, которое ищет опоры в некогда родных

сердцах. Хорошо, если бы это так и было понято и принято и тобой, и Василием Ивановичем. Потом разойтись будет не поздно, но упустить возможность собраться, как встарь, никак нельзя.

Он когда-то сам первый протестовал, когда я говорил о вашей неразлучности, а вот повоевал-повоевал и понял, что все вы друг другу написаны на роду и никуда деться друг от друга не можете, потому что в народном сердце теперь навсегда втроём прописаны.

Впрочем, найдёт ли ещё деньги-то? Президентские выборы съедят всё, что возможно и невозможно. Больно уж много кандидатов — на всех не напасёшься.

Увидишь Валю Сидоренко, кланяйся. И Мише Трофимову — тоже. Я очень люблю того и другого, несмотря на глубину своего вероучительного падения. Авось когда-нибудь они меня и простят, догадавшись, что за Христа можно не только оторвать голову ближнему, но и любить этого ближнего, даже не соглашаясь с ним в политических взглядах.

Обнимаю тебя и теперь уж в Москве жду. Таково непостоянство характера: из Москвы гоню тебя в Сибирь, а уедешь — жду не дождусь возвращения.

**От В.Р. — В.К.
15 апреля 1996 г.
Иркутск**

Собрался вчера, в Велик день, написать тебе, но такая грусть-тоска нашла да полезла в письмо, что пришлось его оставить. И поехал

на коллективную Пасху, которую каждый год собирает наш Владыка, но и там было невесело. А между тем получил от тебя второе письмо, и если не ответить теперь, то уже и не отвечу, как не однажды случалось.

Всё меньше я удивляюсь «великосидению» или даже «великолежанию» Савелия — до того не хочется ни выходить, ни делать. Так бы лежал и лежал. Читать есть что, а размышлять не хочется. Притом лучше лежать в Иркутске, а не в Москве — там неудобно. Да вот беда: надо охлопатываться пропитанием, а потому суетливой жизни пока не избежать.

Из Москвы я улетел на день раньше, и воспользоваться бесплатным военным самолетом, как собирался, не пришлось. Скончалась мать, было не до бесплатного. Десять дней провёл в Братске, затем вернулся в Иркутск и в изнеможении лёг в больницу. И только накануне Пасхи выписали, так что «родные стены» оказались в этот раз неласковыми. До того накололи меня, что жду не дождусь, когда мне станет лучше, а потом хорошо.

В больнице в вечерние часы можно было даже что-нибудь и черкать карандашиком, но не черкалось. Смерть матери, хотя мы её ждали, произвела впечатление. Двадцать с лишним лет назад, когда похоронили отца, смерть его воспринималась острее, но то, что острее, и сходит быстрее. Здесь же словно в меня, в старшего, передана была очередность околевания, и я явственно почувствовал, что

она во мне; потребуется, вероятно, время, чтобы приспособиться к этой тяжести. Боли нет, а именно вошедшая властно и по-хозяйски тяжесть. Двигаться тяжело, говорить — тоже. Надеюсь на дачу, там должен потихоньку размяться.

Теперь о возможной акции примирения, которая могла бы произойти в Овсянке и которая, конечно, не могла обойтись без твоего влияния на В.П. и неоднократного, вероятно, напоминания. Ох, боюсь я, Валентин, как бы из этого не вышло противоположное. Белов, я думаю, и не поедет: провода-то ведь оголены с той и другой сторон, и соприкосновение накануне ли выборов или сразу после выборов опасно. В.П. не удержится, чтобы не отвесить свой обычный «поклон» коммунакам, которые виноваты во всём, но особенно виноваты в том, что произошло после 91-го года, а Белов не удержится возражать. Я более покладистый человек, но не удержусь и я. Хотя встреча и Овсянная, но по цели она будет похожа на Римскую. А та никого не примирила, кроме В.П. с Баклановым, несмотря на совместную декларацию. А в окружении вызвала обозление, вспомни статью Т. Годуновой, и не только её. По сути ты прав, но то, что должно произойти, пусть происходит естественно (и уже происходит), всякая публичность здесь может быть только вредна.

Всё в конце концов можно и отбросить, и забыть, и есть сказанное тобою, во имя чего что

должно сделать, — но «...не утерпит» один, затем другой...

Вале Сидоренко я твои слова передал. А от себя попенял за дерзость молчания. Она ответила благоволяющим тоном: «Я ему напишу». Вот уж в ком гордыни-то! Устраивает, предположим, какое-нибудь «событие» (епархиальное), колотится изо всех сил, а сама на него не идёт. Чтобы замечено было не присутствие, а отсутствие, чтобы спрашивали друг друга: «А что с Валей, где Валя?» — а потом называли ей, но дело она возле нашего Владыки делает хорошее и хорошо. Написала хорошую повесть; если не разругаемся до моего отъезда, то привезу для «Москвы» или «НС».

У меня лежит восемь (одну оставлю) твоих книжек. Или отправлю почтой, или привезу. В Москве буду к середине мая. Собираюсь там дожить до выборов, проголосовать за коммунаку и, если не произойдёт ничего чрезвычайного, тогда уж и вернуться. Подгадал бы к тому времени военный самолёт!

**От В.К. — В.Р.
25 апреля 1996 г.
Псков**

...Я и сам понимаю всю сложность возможной овсянской встречи, но и знаю, что не делать такой попытки — значит потакать злу. Кажется, они переносят встречу на август, чтобы мерзость выборов могла отодвинуться. А что выборы — мерзость (при всех исходах), видно уже сейчас

по взаимному количеству грязи. В победе Зюганова я почти не сомневаюсь именно потому, что ненависть к нему выходит за все пределы. Бесплатные цветные газеты, рисующие его чудовищем, сделают своё дело. Во всяком случае сделают его в провинции, как ни пугают старух, что он закроет церкви, и как сами попы уже ни подсюсюкивают властям в этой лжи.

Ну это — Бог с ним. А вот что ты зиму пролежал — это горе и горе. Хорошо, хоть бы с пользой. Поправился бы хоть как следует и на год-другой позабыл про больницы. Жалко, что лето опять будешь в Москве. В деревне оно как-то здоровее. Правда, в твоей деревне от политики не спрячешься — народ вокруг дошлый. Да, Впрочем, теперь, кажется, и ни в какой деревне не спрячешься. Если уж даже в монастыре не укроешься. Я был на страстной неделе и в Пасху в Печорах — только поворачивайся, всё про выборы норовят спросить. Хорошо, хоть служб не отменяют и там успеваешь прийти в себя.

Очень понимаю и то, что ты пишешь о маме. Сам я каждое утро радуюсь, что она рядом, дивлюсь её юмору и свету — при её-то жизни, радуюсь таланту, который в каждом движении, в том, что она вяжет, в том, как смотрит кино, как вспоминает, как говорит о своих подружках («а у тово дому чуть не все девки мово, 13-го году, все из одной деревни. Все толстые и зовут Тонями»), как складывает стихи про комара,

которого убила ночью... И боюсь заглядывать в будущее, торопясь наглядеться и нарадоваться. И в тысячный раз думаю, что жить надо одним домом и на своей земле, а то дед у меня лежит в одном углу России, отец — в другом, брат — на Украине, так что и на могилу не съездишь. Я уж не говорю о дядях, тётках, двоюродных братьях. Ни роду, ни племени. От этого больше всего Россия и болеет, а не от дурных политиков и идей. Вернее, идеи и политики до этого довели, а теперь и не знают, как собрать. А уж чего собирать? Прав ты: давно не народ, а одно население.

**От В.К. — В.Р.
2 октября 1996 г.
Псков**

...Судя по Псковскому TV, ты в Москве. Вчера показали, как Зюганов решает судьбу псковского губернатора, и я увидел тебя рядом. Во всяком другом контексте это не вызвало бы моей досады, но тут было невыносимо. Невыносимо, что можно играть, «насолить демократам» судьбой людей целой области только из соображений политической пользы.

А ведь нам тут жить. Конечно, Владимир Вольфович тотчас прилетел и не дал своему протеже и рта раскрыть — «озолочу». «Вся партия будет работать на нас, нас 51 голос. Из любого правительства, из любого бюджета вырвем, а ваш Туманов один, где ему с нами тягаться. А подтасуете

что — мои ребята тут — мало не будет!» Но и тут даже вчерашние противники Туманова (а и противники-то как везде: «Пенсии вовремя не дают». А где её дают? «Заводы не работают». А где они работают?) присмирели и поняли, куда могут заехать с Владимиром Вольфовичем.

А тут Зюганов, народно-патриотический фронт. Знал бы ты, какую страшную рану нанесло это зюгановское заявление и народному, и патриотическому чувству и сколько людей разом отшатнулись от движения. И слепые видели, что отдавать власть Жириновскому — это предательство остатков здравого народного смысла, и, если до этого часа ещё думали о коммунистах с уважением, тут как волной смыло. Ведь это игра людьми, Валентин, судьбой целой земли. Неужели нельзя было увидеть? Я понимаю, что ты приходил в этот президиум не эти вопросы решать и так уж повернулась судьба, но она теперь всегда так будет поворачиваться. Этим ребятам на народ плевать. Да и на Россию тоже.

Помнишь, ты после встречи у этого самого нашего губернатора Туманова говорил, что если он так только говорит, то и это уже благо. А он и делал для славы России, для памяти, для церкви необычайно много, может, иногда чего-то у того же народа отрывая, потому что хотел гордость Родной в них воскресить, а им уж не до Родины — им своё отдай. Пока это везде плохо согласуется. Он рисковал и знал это.

Конечно, у него пока чутья не хватает. Я потому ни слова за кампанию нигде о нём не сказал, несмотря на просьбы, чтобы он сам видел и сам делал. И сейчас ему урок преподнесён живой и долгий, вразумляющий.

Но средства, средства отвратительны. И с его стороны не лучшие. Лужкова зазвал, Черномырдин дал деньжонок на пенсии. Но суть, но основа, но стратегия! Опомниться не могу. Тяжело. Мы можем решать свою судьбу, можем хлопотать о своей земле, которую знаем, о своём начальстве, но решать там за нас, подписывать решение народно-патриотическим блоком — это совать людей в петлю.

Сам-то новый губернатор Михайлов, может, и парень неплохой. Вольфович не дал нам узнать его, потому что говорил один, но руководить-то будет Вольфович, и уж он затеет из области такой сольный концерт, что свет покажется в копейку. Предвижу даже и начало победной речи: «Отсюда, с западных рубежей России, мы начали победное шествие по ещё не прозревшим районам страны...»

Нельзя, нельзя нам сидеть в президиумах ни с Ельциным, ни с Зюгановым — ни тому ни другому до Родины нет дела. Наше дело — держать народную душу со страдающими, труждающимися и обременёнными, с потерянными и преданными, а не за парадными столами. Мы эту работу делаем сегодня как никогда плохо.

Прости, Валентин, недоговорённость была бы несправедлива по отношению к дружбе.

От В.Р. — В.К.
22 декабря 1996 г.
Москва

Прости, что отзываюсь на твоё письмо с огромным опозданием. Но трудно было отвечать. Сразу не стал писать сознательно, потому что мог сорваться и на резкость, а затем потянулось уже от нежелания бередить и тебя, и себя. Но объяснить всё же необходимо, и лучше сначала письменно, хотя и жаль, что мы с тобой разминулись в Москве всего на день. Однако, объяснившись, легче будет и встречаться.

Ты не в первый раз пытаешься поставить меня на место, не мною занимаемое, а определённое для меня тобою. Сначала — года два назад, когда моя подпись оказалась под письмом против церковных обновленцев. Я её не ставил и не обманывал тебя, говоря, я не нашёл её под письмом, но мог поставить. В старые времена, когда я наверняка был бы более воцерковлённым человеком, я наверняка был бы и на стороне старообрядцев. По консервативному своему складу характера и ума, по согласию с аввакумовским доказательством: до нас положено — лежи оно так во веки веков. Я даже в юности узких брюк не носил — и не потому, что комсомол не велел, а потому, что мне это казалось нарочитым, вздорным. Понимая прекрасно, что это невозможно и вредно — находиться России за «железным занавесом» от Запада, я втайне тоскую по нему: сколько доброго было бы не загажено! Так же втайне я сочувствую зарубежной

церкви, более охранительной и аскетической к букве православия, чем патриаршья, но всегда до сих пор был против её приходов в России. По тому закону, который говорит, кто мыслию, взглядом возжелал, уже согрешил, — я грешник, но по теперешним временам это не самый тяжкий грех.

С Зюгановым же я вожаюсь не потому, что скорблю или скучаю по коммунизму (хотя скорблю — может быть, да, как должно скорбеть по поводу всего, чему народ в течение десятилетий отдавал силы). Но он мне кажется порядочным человеком, порядочней всех, кто имеет всё. Коммунизм ему не вернуть, он и сам это, я думаю, понимает, но составить силу, способную хотя бы тормозить властный разбой, худо-бедно ему удалось. И удалось бы больше, если бы «чистые» патриоты не боялись бы замазаться, белыми платочками вытирая руки в то время, когда надо было выхватывать страну из грязи, грязней которой не бывает. Делиться на красных и белых нынешним летом было безрассудно, безрассудно и сейчас. Но казакам достаточно того, что им дозволено носить лампасы, монархистам — что можно ставить памятники последнему государю, а что вытворяют со страной и народом, за лампасами и памятниками не видать.

Я думаю, ты не обличил Астафьева, когда он лобызался с дурачащим всю страну... язык не поворачивается, чтобы показать его президентом. Тебе это казалось неприятным, но допустимым в борьбе с Зюгановым (какой там,

к дьяволу, коммунизм, как будто ты веришь в его возвращение!). А когда я сел рядом с Зюгановым на пресс-конференции, посвящённой, кстати, финансированию науки, образования и культуры, это сочлось не менее как предательством. Вот уж: с кем вы, мастера культуры? — с палачами вроде Зюганова или со спасителями Отечества, как Ельцин?

Я запачкаться, Валентин, не боюсь, и ни в каких глубинах души согласия у меня, чтобы хоть маленькой запятой оговориться, с Ельциным быть не может. Ваш Туманов, верю тебе, был более подходящей для Пскова фигурой, чем новый, которого поддержал Зюганов, но взыскивать с меня за Зюганова — это в тысячу раз менее оправданно, чем спрашивать с Астафьева за творимое Ельциным.

Тысячу раз я давал зарок встать посередине, но то ли характер, то ли слабая воля не позволили. А больше того: как вспомнишь, что делается... да и вспоминать не надо, всегда перед глазами. О своей Аталанке я тебе уже писал. А в середине октября ездил в Кяхту, чтобы обновить впечатления. В городке за 20 тысяч не работает ничего, всё стоит. Не работают ни школы, ни больница, полное оцепенение. А по улицам старушки гоняются за покупателями, предлагая сигареты не в пачках, а по одной, поштучно, чтобы насобирать на полбулки хлеба.

Я тебя тоже понимаю всё меньше. С редактором «Огонька» ты не побрезговал обсуждать

литературно-библиотечное дело, а затем вырабатывать совместное обращение, но, увидав в аэропорту Лыкошина с Володиным, решительно пошёл сдавать билет. Не те попутчики. Но в таком случае выходит, что согласие-то, к которому вы призываете, готовится внутри одной стороны, а вторая, грубая и лапотная, так и останется ненавидимой. Видел ли ты опубликованный примерно месяц назад список президентского совета по культуре из 40 человек? Ни одного из «вражеского ста-на». Это и есть «примирение»: вы молчите, а мы, нахапавшие выше головы, останемся при своих интересах.

Мне уж в приличное общество не попасть, не попасть совершенно искренне — не хочется, с отверженными умирать легче.

Всё. По этим делам точка.

Книжка с твоим предисловием скоро выходит. Ещё раз перечитал: предисловие очень хорошее. Но дадут ли нам ещё какие-нибудь денежки, не уверен. Ибо и издатели не уверены, и правильно, что книжка пойдёт.

В Иркутск ездил, чтобы добрать справки для оформления пенсии. Тяжело болен брат, тяжело больна тётка, надо было навестить и помочь. Глаза видят всё хуже — прошёл очередное обследование (бесплатное, чего в Москве уже не получить), чтобы сменить лекарства и очки. Предстоит ещё операция, по-видимому, двухразовая, но пока можно потянуть. Словом, не развеселился и в Иркутске. Кругом споры

среди бывших своих, глупая злоба. Очень по-нашенски. Но светит каждый день солнышко, лежат богатые снега, стоят морозы.

С наступающим Рождеством Христовым и Новым годом тебя, Валентин! Тебя и твоих домочадцев! Дай-то Бог обойтись вам в 1997-м без всяких уронов. О счастье уж не вспоминаю. Не до жиру, быть бы живу!

Очень надеюсь, что ты не обидишься на мои слова.

От В.К. — В.Р.

3 января 1997 г.

Псков

...Спасибо за спокойное и твёрдое письмо. Видно, мы по-настоящему друг с другом и не говорили. Не о чем нам с тобой спорить: мы до звука согласны в целях и разве методы видим разные. Да и люди вокруг разные и каждый из них по-своему красит «нашу» идею, и тут надо просто на полчаса дольше поговорить, чтобы эти оттенки перестали мешать. Мы вон с Семочкиным иногда в письмах начинаем Бог знает в чём друг друга подозревать, а съедемся, начнем пушить друг друга и вдруг на полуслове с удивлением увидим, что пора обниматься. Что это помрачение общей подозрительности и расхлябанность слов, потерявших ось, привели к несогласию-то.

А повернёшь слово как следует, вернёшь ему настоящий смысл, и тут и видно, что сердце бьётся одно. И я ведь, когда кричу о том, что не наше дело по президиумам

сидеть, не к «середине» зову. Это уж надо или машиной быть, или совершенно равнодушным человеком, чтобы в таком месте устроиться. Я только хочу, чтобы истину не «обуживали» до партийных границ. Она непременно окажется шире, и, сделав её слишком «нашей», ты начинаешь увечить её, а заодно и себя и не заметишь, как сделаешься невольником этой узости, когда тебе уже «товарищи по партии» в сторону и шаг не дадут ступить, сочтя всякий такой шаг предательством. А дело-то не в нас. Сужая истину, мы страшно вредим и без того уже потерявшей голову Родине. Они ведь нас как раз в эту узость и загоняют, провоцируют, постепенно расширяя своё поле и вытаптывая на нём всё живое и родное, что мы могли бы спасти, когда бы не страшлись быть шире, потому что чего же страшиться, когда это наша земля и наше всё, что в ней и что надумано о ней. Когда это чувство «нашего» крепко, то можно и ошибаться, и делать неловкие шаги, но сбить человека всё равно будет нельзя и передёрнуть его карту тоже, ибо он везде искренен. Вот только об одном этом я и твержу год за годом и одного этого и хочу — быть дома во всей своей Родине, а не в одном углу, куда меня медленно затолкают опытные софисты другой страны.

И у Астафьева не один редактор «Огонька» был, которому как раз слова-то не дал на «круглом столе», а много добрых людей из Костромы, Перми, Челябинска, Красноярска, Иркутска

(Г. Машкин). И звал-то Виктор Петрович и тебя, и Василия Ивановича, и Носова, и Лихачёва, и Солженицына. Конечно, было, наверное, там не без расчёта и не без честолюбия, но всё опять же зависело бы от интонации разговора, от того, как и о чём говорили бы собравшиеся. Хотя, конечно, теперь уже ясно, что ничего такие разговоры не дают, что непременно или на «разборку» съедут, или на «круглые места», но и это говорит не о времени только, но и о нашей усталости от неверия в побуждения друг друга, а в конце концов и о потере ответственности перед той же Родиной (прости, что я будто на риторику съезжаю, — не риторика это), потому что, когда ответственность эта есть, куда угодно поедешь и с кем хочешь станешь говорить и дела не унизишь. А ведь то, что мы умудрились окончательно развести «лагеря», это нам нигде не простится. Надо и о неприятии

говорить не в «параллельных» изданиях, а принародно и лицом к лицу, веря, что искреннее слово будет и услышано искренне, и понято верно. Хотя и сам уж так устал, что начинаю тоже думать, что это романтизм. А не хотелось бы так думать, потому что это равносильно смерти.

Ну, на бумаге всего не скажешь — только измучаешься. Как у тебя расписание-то? Теперь в Москве будешь? Авось я к началу февраля соберусь. Пока письмо доберётся, уж и святки, поди, отойдут. С Крещением тебя! Пошли Бог крещенской чистоты и святого Духа бедным русским водам.

На этом и простимся. Жаль, что теперь мы уже воспринимаем всё менее болезненно. Втянулись. Но лучше совсем-то это минувшее не забывать, чтобы окончательно не успокоиться в сегодняшнем нашем полубытии.

